

## БОРАТЫНСКИЙ В ПРОЧТЕНИИ ЗАБОЛОЦКОГО:

### *поэтика элегии и гротеска*

Близость зрелой лирики Заболоцкого к художественному миру Боратынского, сознательная ориентация на его поэтическое осмысление не вызывает сомнений. В работах о Заболоцком подчеркивается, как правило, его преемственность по отношению к Тютчеву и Боратынскому. Но если первая неоднократно становилась предметом специального рассмотрения, то вторая относительно мало затронута исследователями<sup>1</sup>. Думается, что ключом к прочтению одного поэта другим может в данном случае быть письмо Н.А. Заболоцкого к жене из заключения от 6 апреля 1941 г. Приведем интересующую нас выдержку:

«Книжечка Баратынского доставляет мне много радости. Перед сном и в перерывы я успеваю прочесть несколько стихотворений и ношу эту книжечку всегда с собой. Мироззрение Баратынского, конечно, не совпадает с моим, но его темы и то, что он поэт думающий, мыслящий – приближает его ко мне, и мне часто приходит в голову, что Баратынский и Тютчев восполнили в русской поэзии XIX века то, чего так недоставало Пушкину и что с такой чудной силой проявилось в Гете. Но Баратынский нравится мне не только как мыслящий человек, но и как поэт; в его стихах (которые написаны им примерно в моем возрасте и старше) у него много поэтической силы и смелости, не в пример молодым его стихам, французистым по манере – в духе того времени. И нужно сказать тебе, что горько становится – не имею возможности писать сам. И приходит в голову вопрос - неужели только я один теряю от этого?». (Курсив здесь и далее наш – М.Г.)<sup>2</sup>.

Представленное письмо – не только свидетельство любви Заболоцкого к Боратынскому. Судьба и поэзия Боратынского отчетливо проецируется в нем на собственную поэзию и судьбу. Вынужденное поэтическое за-

творничество Боратынского, тоска по читателю, от которого он оторван, и одновременно – жалость к лишенному поэзии веку были духовно близки Заболоцкому в период его вынужденного молчания. Вопрос, завершающий размышление Заболоцкого, продиктован, хотя бы отчасти, сходством двух поэтических судеб и поэтому близок мыслям Боратынского. Духовное родство двух поэтов неожиданно подтверждается и сходными отзывами мемуаристов о каждом из них. Очерчивая духовный облик и Боратынского, и Заболоцкого, едва ли не все современники подчеркивают скромность, твердость, осознание своего дара как «поручения», высокую ответственность за него<sup>3</sup>.

Размышления о несходстве мировоззрения знаменательны: поэзию – свою и Боратынского – Заболоцкий рассматривает в контексте пушкинской формулы: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». «Поэзия мысли» (Л.Я. Гинзбург) – именно то направление, к которому приходит Заболоцкий во второй половине 1930-ых гг. Этим, вероятно, и объясняется его интерес к позднему творчеству Боратынского, ранняя «французистая» лирика которого воспринимается Заболоцким как следование общепринятому стилю. Преодолевший поэтическую манеру «Столбцов», он ищет аналога такому же преодолению инерции собственного слова. Речь идет не о родстве ранней лирики двух поэтов – эти явления, в сущности, полярны. Сходным образом разрешается именно проблема становления новой поэтики.

Но интерес к лирике Боратынского возник у Заболоцкого значительно раньше, причем она сразу была осмыслена им в широком литературном контексте. Знак этого интереса – открывающее первое издание «Столбцов» стихотворение «Белая ночь», название которого содержит спектр литературных ассоциаций от «Медного всадника» до «Петербурга». Каждая строфа «Белой ночи» представляет собой фантасмагорическую вариацию одного или нескольких произведений «петербургского текста»: третья – «Невского проспекта» и «Незнакомки», шестая – «Медного всадника».

Отметим, что в интерпретации Заболоцкого исчезает знаменитая петербургская призрачность. Напротив, все предметы и явления обретают плоть и зримые очертания. Способствует этому и форма императива, которая создает иллюзию непосредственного наблюдения:

Гляди: не бал, не маскарад.  
Здесь ночи ходят невпопад...<sup>4</sup>

Белая ночь, изображенная Заболоцким, не погружает все в полумрак и неизвестность, а, напротив, проясняет и огрубляет все гротескные явления петербургского мира. Поэт зримо и осязаемо воплощает все то, что изначально обречено на неполноту бытия. Белая ночь становится не значимым фоном событий, а самобытным литературным героем.

В первой редакции стихотворение Заболоцкого заканчивалось так:

И всюду сумасшедший бред,  
И белый воздух липнет к крышам,  
А ночь уже на ладан дышит,  
Качается как на весах.  
Так недоносок или ангел,  
Открыв молочные глаза,  
Качается в спиртовой банке  
И просится на небеса... /312/.

Вот что пишет по этому поводу Д.Е. Максимов: «Теперь, заглядывая в “Столбцы”, я чувствую в этих стихах и еще одну особенность – характерный для позднего Заболоцкого ассоциативный фон: видение белых ночей Достоевского, “Недоносок” Боратынского, уводящий к гомункулу из “Фауста” Гете и тот же недоносок в спирту, взятый, как будто из петровской кунсткамеры, а рядом – полуиронические “ангел” и “небеса”»<sup>5</sup>.

Очевидно, что слово «недоносок» непосредственно отсылает читателя к одноименному стихотворению Боратынского. Об его уникальности говорилось неоднократно: образ духа, оголенного перед лицом «бессмысленной вечности», не имеет аналогов в русской литературе<sup>6</sup>; анализ его

возможных источников приводит к Гете, Платону и далее – к архетипическому представлению о невоплощенном духе и жизни, лишенной бытия<sup>7</sup>.

Герой «Недоноска» – «ничтожный дух», главный признак которого – невозможность воплощения, промежуточность бытия. Он равно чужд земному и небесному мирам, бессилен перед «роковым дуновением», обречен на вечное пребывание в центральной точке мироздания, где все воспринимается пропущенным через призму воздуха. Ясность очертаний утрачена:

Мир я вижу, как во мгле;  
Арф небесных отголосок  
Слабо слышу... /254–255/.

Произведение Боратынского представляет собой развернутый монолог недоноска, причем прямое лирическое «я», как отмечал С.Н. Бройтман, соотносится здесь с откровенно условным образом субъекта<sup>8</sup>. Стихотворение можно определить как монолог воздуха, чистого духа, предельно малой части бытия.

Заболоцкий резко переосмысливает созданный предшественником образ. Недоноска «Белой ночи» грубо и зримо телесен. Атрибуты его телесности – «молочные глаза» и «спиртовая банка», в которую он погружен. Передающий бессмысленный взгляд героя эпитет «молочные» напоминает о несостоявшемся младенчестве героя, то есть о детстве и небытии одновременно. Слову «недоноска» возвращается тем самым прямое, резко сниженное значение, вызывающее ассоциацию с экспонатом, покинувшим петровскую кунсткамеру и влившимся в «сумасшедший бред» петербургской реальности. Недоноска в финале «Белой ночи» – одно из тех странных явлений бытия, которое возникает, когда умолкает разум:

Разум мой! Уродцы эти –  
Просто вымысел и бред.  
Только вымысел, мечтанье,  
Сонной мысли колыханье,  
Безутешное страданье –

То, чего на свете нет.

(«Меркнут знаки Зодиака...» /109/).

Недоносок Боратынского находится вне реального исторического пространства и времени. Недоносок Заболоцкого не только локализован в Петербурге, но и является его воплощенным духом. Можно предположить, что здесь Заболоцкий предвосхитил мысль современных исследователей о том, что «путь “Недоноска” вел к миру Достоевского».<sup>9</sup> Но не к миру его героев, а к миру размытых и фантасмагорических очертаний «самого умышленного города на свете». Тесно связанный творческой судьбой с Петербургом, Боратынский, тем не менее, не стал одним из создателей «петербургского» текста<sup>10</sup>. Но образ духа без бытия из его стихотворения, «живого комка боли за себя и всех»<sup>11</sup> оказался почти через столетие после смерти поэта метафорой Петербурга.

Почему же в таком случае Заболоцкий отказался от упоминания «недоноска» в окончательной редакции «Белой ночи»? Возможно, причина в том, что первоначальный вариант финала разрушал смысловое единство произведения. Образ ночи-«самозванки» в окончательной редакции возвращал читателя к заглавию и магистральной теме стихотворения.

В. Ляпунов предположил, что образ недоноска в стихотворении Боратынского восходит к образу гомункула из второй части «Фауста»<sup>12</sup>. Сходство героев определяется, прежде всего, тем, что недоносок, как и гомункул, не может осуществиться, достичь полноты человеческого бытия. Каждый из них – странное создание, наделенное духом, но лишённое тела, невоплощенное в прямом смысле слова:

Я облететь успел всю эту ширь.

Мне в полном смысле хочется родиться,

Разбив свою стеклянную темницу...<sup>13</sup>

Сама мысль о том, что стихотворение Боратынского восходит к «Фаусту», достаточно убедительна (хотя необходимо отметить, что Боратынский не мог читать Гете в подлиннике, поскольку не знал немецкого

языка). Как бы то ни было, не подлежит сомнению, что в сознании Заболоцкого имена Боратынского и Гете были прочно связаны. Вспомним фрагмент приведенного выше письма: «Баратынский и Тютчев восполнили в русской поэзии то, чего не хватало Пушкину, и что с такой чудной силой проявилось в Гете». С. Чиковани вспоминает о том чувстве любви и восхищения, с которым Заболоцкий читал ему «На смерть Гете» Боратынского. «Это стихотворение, – пишет мемуарист, – как бы приобщало его к творчеству Гете, помогало ему постичь высокий поэтический строй души автора “Фауста”. Гете был для него предметом благоговейного восторга и преклонения»<sup>14</sup>.

«На смерть Гете» – произведение подчеркнуто программное, декларативное. При несомненных достоинствах его нельзя отнести к сокровенным, выстраданным стихам Боратынского (таков «Недоносок»). Личностное начало в нем сведено к минимуму, это стихотворение о другом, и притом заведомо недостижимом другом. Создание произведения памяти Гете было во многом продиктовано насильственной, а потому и обреченной на неудачу попыткой разделить воззрения русских шеллингианцев и найти в них творческую опору, объединить свой путь и путь века. На определенный рационализм этой попытки указывает и жанровая природа произведения, осознаваемая Боратынским. В письме И.В. Киреевскому – одному из наиболее восторженных почитателей Гете в России – он сообщает, что написал «оду на смерть Гете, которой доволен более других»<sup>15</sup>. Одическое мышление не было свойственно Боратынскому, и в «оде на смерть» он не столько отдавал дань достоинствам Гете, сколько намечал для себя идеальную творческую программу.

Размышляя о Гете, Боратынский почти ни в чем не отклоняется от канонического образа «всеобъемлющего поэта»<sup>16</sup>, который был создан русскими шеллингианцами. Паломничества в Веймар и преклонение перед гением Гете входили в эстетическую программу любомудров, что определи-

ло массовый характер откликов на его смерть. И. Бродский справедливо замечает, что когда речь идет о смерти властителя дум, в особенности принадлежащего к другой культуре, «эмоциональная необязательность порождает дидактическую расплывчатость»<sup>17</sup>. Вероятно, этим и объясняется сходство произведений на смерть Гете Боратынского и Тютчева:

...С его великою душою  
Созвучней всех на нем ты трепетал,  
Пророчески беседовал с грозою  
Иль весело с зефирами играл!<sup>18</sup>

С природой одною он жизнью дышал;  
Ручья разумел лепетанье,  
И говор древесных листов понимал,  
И чувствовал трав прозябанье;  
Была ему звездная книга ясна,  
И с ним говорила морская волна. /153/.

В основании обоих откликов лежит представление о вербальной первооснове бытия: мир мыслится как текст, лишь отчасти доступный человеческому пониманию. Гений Гете, по Тютчеву и Боратынскому, проявляется именно в способности воспринять природный мир во всей полноте. Ю.М. Лотман отмечал, что Боратынский «устойчиво связывает понимание природы с овладением ее особым языком, употребляя для характеристики познания глаголы речевого общения»<sup>19</sup>. Для подтверждения этой мысли достаточно вспомнить произведения разных лет: «Финляндию», отрывок из поэмы «Воспоминания», «Водопад»:

Как очарованный, стою  
Над дымной бездною твоею  
И, мнится, сердцем разумею  
Речь безглагольную твою /105/.

Заболоцкий унаследовал это свойственное поэзии позднего романтизма представление о тождестве словесного и природного миров («Вы

слышите, как через бурю и слякоть // Ревут водопады, спрягая глаголы?» /212/). Стихотворение Боратынского «На смерть Гете» Заболоцкий непосредственно связывал с натурфилософскими работами самого Гете, с его мыслью об одухотворенности всего сущего: «Природа – это вечная жизнь, становление и движение... Она мыслила и мыслит постоянно, но не как человек, а как природа»<sup>20</sup>. Способность природы мыслить и воспринимать представлялась ему не поэтической условностью, а реальностью. Для Заболоцкого, как и Боратынского, Гете был в этом плане идеалом. Но, подобно Боратынскому, Заболоцкий тяготел к иному восприятию мира.

Выше было сказано, что личностное, исповедальное начало в стихотворении «На смерть Гете» почти отсутствует. Но именно почти: сквозь традиционные формулы отчетливо проступает болезненное осознание собственного несовершенства, особенно резкого в сравнении с героем стихотворения. Создание «оды на смерть Гете» у Боратынского парадоксально предваряет появление странной лирической исповеди – «Недоноска». Начертанная в первом произведении жизненная программа опровергается катастрофической реальностью, открывающейся во втором.

Недоносок и Гете – два полюса художественного мира Боратынского<sup>21</sup>. Источник полярности – в изначальном сходстве лирической ситуации. Пространство, данное каждому из них, – беспредельность, время, открывающееся перед каждым, – вечность. Но если Гете вечности удостоен, то недоносок на нее обречен. Бытие Гете легко («к предвечному легкой душой возлетит»), недоноска – невыносимо. Образ Гете знаменует собой полноту бытия: он все воспринял, все познал, на все отозвался. Его восприятие спокойно, гармонично, лишено мучительного надрыва, присущего недоноску: перед «крылатой мыслью» Гете равны «труды мудрецов» и «звездная книга».

Восприятие недоноска, напротив, обострено до болезненности. Он вбирает в себя всю боль человечества, и необъятное мироздание оказыва-



ется тесным для этой скорби. Слуху недоноска доступны лишь возгласы боли: «клик враждующих народов», «гром войны», «плач недужного младенца». В унылом вопле недоноска эти страшные звуки собраны воедино, но его крик никто не слышит (той же природы – невыносимый для человеческого слуха «воплъ тоски великой» в «Осени» Боратынского; в XX в. он отзовется еще в «Осеннем крике ястреба» Иосифа Бродского).

Вернемся к Заболоцкому. Стремление к гармонической всеотзывчивости Гете соединяется в его лирике с мучительной обостренностью восприятия, свойственной недоноску. В особенности это характерно для произведений, написанных во второй половине 1930-ых гг. – элегий «Людейников», «Начало зимы», «Вчера, о смерти размышляя...». Остановимся на последнем подробнее:

Вчера, о смерти размышляя,  
Ожесточилась вдруг душа моя.  
Печальный день. Природа вековая  
Из тьмы лесов смотрела на меня.

И нестерпимая тоска разъединенья  
Пронзила сердце мне, и в этот миг  
Все, все услышал я – и трав вечерних пенье,  
И речь воды, и камня мертвый крик.

И я, живой, скитался над полями,  
Входил без страха в лес,  
И мысли мертвецов прозрачными столбами  
Вокруг меня вставали до небес /198/.

О близости его к «Недоноску» говорит сходство межсубъектных отношений в произведениях. Душа героя обретает свободу отдельного бытия; автор одновременно и дистанцирован от героя («ожесточилась вдруг

душа моя»)), и близок к нему настолько, что позиции автора и героя сливаются в личном местоимении «я».

Лирический субъект стихотворения Заболоцкого локализован там же, где и недоносок – «меж землей и небесами». Все изображенное в произведении словно бы увидено глазами недоноска, дано через его восприятие. Бессильный что-либо изменить, лишенный плоти, лирический субъект оказывается похож на странного героя Боратынского и обостренной болезненностью восприятия. «Нестерпимая тоска разъединенья» перекликается со «страшным гласом людских скорбей» в «Недоноске». Но слух лирического героя Заболоцкого обострен едва ли не больше, чем слух недоноска: ему внятен не только вопль человеческой боли, но и «камня мертвый крик». Герой стихотворения – фокус напряженной боли, его напряжение подчеркивает и усиленный спондеем повтор («все, все услышал я...»).

Подчеркнем: лирическому герою Заболоцкого открывается не страшное зрелище всемирной вражды, как в «Недоноске», а знание о смерти. Природа в лирике Заболоцкого наделена этим знанием изначально, человек постигает его внезапно и в полной мере. Эта мысль отчетливо выражена в «Начале зимы», где лирическое событие – внезапно увиденный героем ледостав – осмыслено как агония умирающей реки:

...И если знаешь ты,  
Как смотрят люди в день своей кончины,  
Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины  
Смертельно почерневшая вода  
Чешуйками подергивалась льда /193/.

Смерть замерзающей реки изображена Заболоцким в ее оголенной простоте. Перед читателем предстает не державинская «река времен», а «речка»; детская простота слова отражает непосредственность авторского восприятия. Но боль реки становится ключом к проникновению в неуловимое сознание природы. Сильнейшее чувство, которое испытывает при-

рода – страх смерти и сознание ее неотвратимости. В самом движении зимы читается поступь смерти, и это заставляет вспомнить «Осень» Боратынского с ее неумолимым приближением зимы и неизбежным судом над собой:

Зима идет, и тощая земля  
В широких лысинах бессилья,  
И радостно блиставшие поля  
Златыми класами обилья,  
Со смертью жизнь, богатство с нищетой -  
Все образы години бывшей  
Сравниются под снежной пеленой,  
Однообразно их покрывшей... /264/.

В лирике Боратынского два лика смерти. Первый обрисован в стихотворении «Смерть» – странном гимне смерти как устроительнице мировой гармонии, уравнивающему началу бытия, парадоксальной попытке поэта оправдать смерть. Эта попытка опровергается дальнейшим ходом размышлений Боратынского: в «Осени» смерть вызывает не восхищение, а поистине экзистенциальное отчаяние. Надвигающаяся Зима страшна и неотвратима.

Такое представление значительно более близко Заболоцкому. Смерть в его лирике – неумолимый закон всеобщего уничтожения, «природы вековечная давящая», которая торжествует повсеместно:

Лодейников прислушался. Над садом  
Шел смутный шорох тысячи смертей.  
Природа, обернувшись адом,  
Свои дела вершила без затей /340/.

Взгляду Лодейникова – лирического героя Заболоцкого – открывается ежеминутный ад умерщвления и распада. Но представление о постоянном уничтожении живого уравнивается в поэтическом мире Заболоцкого мыслью о метаморфозах как вечной смене оболочек бытия. Эта спасительное представление восходит не только к мифологической архаике,

но и к научным гипотезам великих современников поэта – Вернадского и Циолковского (с последним он состоял в переписке) о единой сущности всего природного мира. Миф о метаморфозах становится для Заболоцкого не литературным материалом, а «живой верой», естественной опорой его натурфилософии, что наиболее отчетливо озвучено в «Метаморфозах»:

Как все меняется! Что раньше было птицей,  
Теперь лежит написанной страницей;  
Мысль некогда была простым цветком;  
Поэма шествовала медленным быком... /205/.

Все стихотворение кажется сотканным из фрагментов стихов Боратынского, хотя его лирика не дает никаких оснований для подобного восприятия: натурфилософия такого рода была поэту чужда. Невольные или сознательные цитаты из Боратынского наглядно демонстрируют различия в мировоззрении поэтов.

Слова Заболоцкого «мысль некогда была простым цветком» навеяны, вероятно, стихотворением Боратынского «О мысль! тебе удел цветка»<sup>22</sup>. Эта изящная миниатюра предваряет важнейшие произведения позднего Боратынского: «Все мысль да мысль! Художник бедный слова...» и «На посев леса»<sup>23</sup>. Но забвение мысли летучим роем современников, о котором говорит Боратынский, не тревожит Заболоцкого, поскольку естественно согласуется с его представлением о постоянно изменяющемся мире. Жизнь предстает в «Метаморфозах» как вечная смена оболочек души, при которой единство бытия сохраняется вопреки бесконечным изменениям:

А я все жив! Все чище и полней  
Объемлет дух скопленье чудных тварей.  
Жива природа. Жив среди камней  
И злак живой и мертвый мой гербарий /205/.

Переломное во внутреннем строе «Метаморфоз» восклицание «А я все жив!» напоминает о программной строке Боратынского «Но я живу, и на земле мое // кому-нибудь любезно бытие». Для Боратынского это жизнь

вопреки глухому веку и видимой бесцельности существования. В стихотворении Заболоцкого, благодаря замене союза, чувство получает другой оттенок – удивление перед парадоксальностью собственной жизни.

Взгляд на существо как временное обиталище духа – плод наивного сознания, ранней мифопоэтической мысли. В поэзии Заболоцкого сохраняется представление о тех «расплывчатых множествах, членами которых могут быть боги наравне с животными, людьми и неодушевленными предметами»<sup>24</sup>. В его поэтическом мире живет архаическая вера в жизнь, продолжающуюся после смерти в другом телесном обличье «в той стране, где нет готовых форм, // где все разъято, смешано, разбито» («Прощание с друзьями»)<sup>25</sup>. Примечательно, что даже бессмертие своих друзей-поэтов Заболоцкий не связывает со словом. Нет традиционного представления о жизни «души в заветной лире» и в «Завещании» – еще одном позднем стихотворении Заболоцкого, отмеченном близостью к лирике Боратынского. Оно выдержано в русле канона итогового стихотворения и вместе с тем глубоко полемично по отношению к ряду классических «памятников». В его подтексте – пушкинские «Памятник» и «Вновь я посетил...», лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...» и, наконец, «Мой дар убог и голос мой не громок...» Боратынского.

Полемика с пушкинским «Памятником» основана на доверии Заболоцкого к невербальным формам бытия. Бессмертию «души в заветной лире» противопоставлено здесь «дыхание цветов», в котором растворится после смерти живой дух поэта. Залогом бессмертия является для Заболоцкого бытие как таковое, «необозримый мир туманных превращений». Благодаря этим представлениям Заболоцкого «Завещание» обретает тональность онтологического гимна:

Нет в мире ничего прекрасней бытия.

Безмолвный мрак могил – томление пустое.

Я жизнь мою прожил, я не видал покоя:



---

<sup>1</sup> Отдельные интересные замечания об элегической поэтике Заболоцкого и о его полемике с Боратынским содержатся в работе И.И. Ростовцевой «Николай Заболоцкий. Опыт художественного познания» (М., 1989).

<sup>2</sup> *Заболоцкий Н.* «Огонь, мерцающий в сосуде...»: Стихотворения и поэмы, переводы, письма, статьи, жизнеописание, воспоминания современников, анализ творчества. М., 1995. С. 117–118. Фамилия Е.А. Боратынского, как известно, пишется по-разному. В письмах Н. Заболоцкого принято характерное для большинства советских изданий написание *Баратынский*, однако в тексте статьи мы придерживаемся написания фамилии *Боратынский*, которое, по свидетельству Н.М. Коншина, горячо отстаивал сам поэт. Подробнее о правописании фамилии поэта см.: *Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского* / Сост. А.М. Песков. М., 1998. С. 472.

<sup>3</sup> Особенно характерны в этом плане воспоминания Вяземского и Киреевского о Боратынском, Каверина и Степанова о Заболоцком.

<sup>4</sup> *Заболоцкий Н.А.* Полное собрание стихотворений и поэм. Избранные переводы. СПб., 2002. С. 71. В дальнейшем произведения Заболоцкого цитируются по этому изданию, за исключением специально оговоренных случаев.

<sup>5</sup> Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984. С. 123.

<sup>6</sup> *Бочаров С.Г.* «О бессмысленная вечность!» (От «Недоноска» к «Идиоту») // К 200-летию Боратынского. М., 2002. С. 129.

<sup>7</sup> *Мазур Н.Н.* «Недоносок» Боратынского // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию В.В. Иванова. М., 1999. С. 140–146

<sup>8</sup> *Бройтман С.Н.* Русская лирика XIX – начала XX века в свете исторической поэтики. М., 1997. С. 100.

<sup>9</sup> *Бочаров С.Г.* Указ. соч. С. 126–128; *Альми И.Л.* О поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 186.

<sup>10</sup> *Топоров В.Н.* Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 259–368. Можно отметить лишь опосредованную связь Боратынского с «петербургским текстом» – отозвавшийся во вступлении к «Медному всаднику» эпилог поэмы «Эда».

<sup>11</sup> *Альми И.Л.* Указ. соч. С. 188.

<sup>12</sup> *Liarpinon V.* A Goetean subtext of E.A. Baratinskij's "Nedonosok" // *Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky.* The Hague; Paris, 1973. P. 277–281.

<sup>13</sup> *Гете И.В.* Фауст; Лирика / Пер. с нем. Б. Л. Пастернака. М., 1986. С. 192.

<sup>14</sup> Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984. С. 223.

<sup>15</sup> *Летопись жизни и творчества Е.А. Боратынского.* М., 1998. С. 294.

<sup>16</sup> *Жирмунский В.М.* Гете в русской литературе. Л., 1982. С. 153.

<sup>17</sup> *Бродский И.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. СПб., 1994. С. 78.

<sup>18</sup> *Тютчев Ф.И.* Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1980. С. 71.

<sup>19</sup> *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. М., 1970. С. 10.

<sup>20</sup> *Гете И.В.* О природе // Гете И.В. Сочинения. М., 1950. С. 675.

<sup>21</sup> Отмечено С.Г. Бочаровым в его упоминавшейся ранее работе.

<sup>22</sup> Отмечено И.И. Ростовцевой в книге: *Николай Заболоцкий: опыт художественного познания.* М., 1989. С. 83.

<sup>23</sup> Подробный анализ этого стихотворения: *Мазур Н., Охотин Н.* *Рососо* нашего запоздалого вкуса...» (из комментария к стихотворению Боратынского «О мысль! тебе удел цветка...») // *Кириллица или небо в алмазах: Сборник к 40-летию Кирилла Рогова.* Тарту, 2006.

<sup>24</sup> *Иванов В.В.* *Метаморфозы* // *Мифы народов мира.* Т. 2. М., 1988. С. 147–149.

---

<sup>25</sup> *Эткинд Е.Г.* Н. Заболоцкий, «Прощание с друзьями» // Поэтический строй русской лирики. Л, 1973.

<sup>26</sup> Подробнее об этом в нашей работе: *Гельфонд М.* Традиция Боратынского в лирике XX века: Дис. ... канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2004.